

ГАЙТО
ГАЗДАНОВ

✦
Полет
История одного путешествия
✦



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Русская классика (АСТ)

Гайто Газданов

**Полет. История
одного путешествия**

«Издательство АСТ»

1934, 1939

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Газданов Г.

Полет. История одного путешествия / Г. Газданов —
«Издательство АСТ», 1934, 1939 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-183760-0

В сборник вошли два лирических романа Гайто Газданова – «Полет» и «История одного путешествия», объединенных темой тоски по утраченному прошлому и попыток обрести смысл жизни. «Полет» – история об одной семье, вынужденной эмигрировать в Париж после Октябрьской революции. Сюжетная линия романа строится на внутренних переживаниях героев и рассказе о самом сокровенном в их жизни – о любви. В «Истории одного путешествия» читателя ждет тот же Париж русской эмиграции, куда главный герой, Владимир, отправляется из Константинополя к старшему брату. Это путешествие сыграет значимую роль в жизни Владимира, открыв юноше людей самых разных взглядов и судеб, преобразив его самого до неузнаваемости.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-183760-0

© Газданов Г., 1934, 1939
© Издательство АСТ, 1934, 1939

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Полет | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 24 |

Гайто Газданов

Полет. История одного путешествия

Серийное оформление А. Кудрявцева.

Издано при поддержке Общества друзей Гайто Газданова.

© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Полет

События в жизни Сережи начались в тот памятный вечер, когда он, впервые за много месяцев, увидел у себя в комнате, над кроватью, в которой спал, свою мать – в шубе, перчатках и незнакомой шляпе черного бархата. Лицо у нее было встревоженное и тоже непохожее на то, которое он знал всегда. Ее неожиданное появление в этот поздний час он никак не мог себе объяснить, потому что она уехала почти год тому назад и он успел привыкнуть к ее постоянному отсутствию. И вот теперь она остановилась у его кровати, потом быстро села и сказала шепотом, чтобы он не шумел, что он должен одеться и сейчас же ехать вместе с ней домой.

– А папа мне ничего не говорил, – только и сказал Сережа.

Но она ничего не объяснила ему, повторила несколько раз:

– Скорее, Сереженька, скорее, – потом вынесла его на улицу – была мутная холодная ночь, – где ее ждала высокая женщина в черном, прошла несколько шагов, и за углом они сели в автомобиль, который тотчас же покатился с необыкновенной быстротой по незнакомым улицам.

Потом, уже сквозь сон, Сережа увидел поезд, и когда проснулся, то опять оказалось, что он в поезде, но что-то неуловимо изменилось; и тогда мать, наконец, сказала ему, что теперь он будет жить у нее во Франции, а не у отца в Лондоне, что она купит ему электрический паровоз и множество вагонов разнообразного назначения и что они теперь никогда не расстанутся, а папа иногда будет приезжать в гости.

Эту ночь потом Сережа вспоминал много раз: чужое и нежное лицо матери, быстрый шепот, которым она говорила, тревожную тишину в прохладном отцовском доме в Лондоне и затем путешествие в автомобиле и поезде. Только потом он узнал, что они ехали еще и на пароходе через Ла-Манш, но о пароходе он не сохранил даже самого отдаленного воспоминания, потому что спал глубоким сном и не чувствовал, как его переносили. Ему было в тот год семь лет, и это путешествие было только началом множества других событий. Они много ездили тогда с матерью; потом однажды, под вечер летнего дня, на террасу над морем, где он обедал вдвоем с матерью, неторопливо вошел отец, снял шляпу, поклонился матери, поцеловал Сережу и сказал:

– Итак, Ольга Александровна, будем считать нынешний день концом этого романтического эпизода. – Он стоял за стулом Сережи, и большая его рука трепала волосы мальчика. Он посмотрел на свою жену и быстро заговорил по-немецки. Сережа ничего не понимал, пока отец не сказал по-русски: – Неужели, Оля, тебе это не надоело? – и опять, спохватившись, стал говорить по-немецки.

Еще через несколько минут появилась новая понятная фраза – на этот раз ее сказала мать:

– Милый мой, ты этого никогда не понимал и не способен понять, ты не можешь судить об этом. – Отец кивал головой и насмешливо соглашался. Плескалось море внизу, под террасой, неподвижно обвисала буро-зеленая пальма почти над волнами, сверкала синеватая вода в маленьком заливе, недалеко от узкой дороги. В молчании мать покачивала загоревшей ногой, неподвижно и выжидающе глядя на отца, точно изучая его, хотя он был таким же, как всегда, – большим, чистым, широким и приятно гладким.

– Противный язык – немецкий, – сказал он наконец.

– Сам по себе?

Он рассмеялся и сказал:

– Да, даже независимо от обстоятельств, в которых... – Затем мать послала Сережу к себе.

– А папа не уйдет? – спросил он и тотчас очутился высоко в воздухе перед гладким отцовским лицом с большими синими глазами.

– Не уйду еще, Сережа, не уйду, – сказал отец.

Они долго разговаривали с матерью на террасе, Сережа успел прочесть полкниги, а они еще говорили. Потом мать звонила по телефону, Сережа слышал, лежа на полу, как она сказала:

– Impossible ce soir, mon chéri, – потом: – Si je le regrette? Je le crois bien, chéri¹, – и Сережа понял, что Шери сегодня не придет, и был очень доволен, так как не любил этого человека, которого вслед за матерью тоже называл Шери, думая, что это его имя, и вызывая смех неизменно оскаленного, темного лица, над которым густо вились тугие курчавые волосы, черные, как сам черт. Шери больше никогда потом не появлялся. Был другой, немного похожий на него человек, говоривший тоже с акцентом, все равно по-русски или по-французски.

Отец не уехал в тот день, а остался на две недели и лишь потом скрылся рано утром, не попрощавшись с Сережей. И после этого, уже в Париже, на вокзале, он встречал жену и сына с цветами, конфетами и игрушками; цветы он держал в руке, а остальное лежало в том самом длинном синем автомобиле, который Сережа помнил еще по Лондону. И тогда они поселились в новом громадном доме, и по комнатам квартиры Сережа ездил на велосипеде, и все шло очень хорошо, пока мать снова не уехала, взяв с собой только маленький несессер и жадно поцеловав Сережу несколько раз. Она, впрочем, вернулась ровно через десять дней, но мужа не застала, нашла только лаконичную записку: «Считаю, что в наших общих интересах необходимо мое отсутствие. Желаю тебе...» Через два дня, вечером, зазвонил телефон – матери не было, она должна была вернуться с минуты на минуту; к телефону позвали Сережу, и он издал услышал отцовский, очень смешной, как ему показалось, голос, который спрашивал его, не скучает ли он. Сережа сказал, что нет, что он вчера с матерью играл в разбойников и это было очень интересно.

– С мамой? – спросил смешной голос отца.

– Ну да, с мамой, – сказал Сережа и, обернувшись, увидел ее; она только что вошла в комнату, и мягких ее шагов по ковру Сережа не слышал. Она взяла у него трубку и быстро заговорила.

– Да, опять, – сказала она. – Нет, не думаю. Конечно. Нет, просто разные души, разные языки. Да. В котором часу? Нет, отплатить любезностью за любезность, ведь ты встречал меня с цветами. Как, и цветы для него? Я думала, только игрушки. Хорошо.

– Отчего ты все уезжаешь? – спросил Сережа у матери. – Тебе скучно с нами?

– Глупый мой Сереженька, – сказала мать, – глупый мой мальчик, глупый мой маленький, глупый мой беленький. Когда будешь большой, тогда все поймешь.

Так же, как Сережа помнил с первых дней своего сознания мать и отца, – так же, отчетливо и неизменно, он помнил и тетю Лизу, ее черные волосы, красные губы и ее запах – смесь английских папирос, которые она курила, духов, тепловатых, скользких материй и легкой кислоты, ее собственной. Это был очень легкий запах, но такой характерный, что забыть его было невозможно, так же, как особенный ее голос, всегда звучавший точно издали и необыкновенно приятный. Но насколько жизнь отца и матери была полна объяснений, разговоров на непонятном немецком языке, отъездов, путешествий, возвращений и неожиданно-стей, настолько существование Лизы было лишено каких бы то ни было неправильностей. Она, действительно, была как бы живым укором для родителей Сережи – у нее в жизни все было так ясно, безупречно и кристально, что Сережа слышал случайно, когда лежал в своей любимой позе на полу в коридоре, как отец сказал матери:

– Посмотреть на Лизу, так ведь даже и подумать невозможно, что она может вдруг ребенка родить, а между тем...

И мать Сережи всегда глядела на Лизу немного виноватыми глазами; даже если сам отец точно ежился в ее присутствии, и, вообще, все словно извинялись перед тетей Лизой за соб-

¹ Сегодня вечером невозможно, мой дорогой... Сожалею ли я об этом? Думаю, что да, дорогой (*фр.*).

ственное несовершенство, особенно неприглядное по сравнению с ее бесспорным нравственным великолепием. Смутно, едва-едва, у Сережи проступало, однако, воспоминание о том, что, когда он был совсем маленьким и тетя Лиза вывела его гулять, рядом с ними шел какой-то человек, оживленно разговаривавший с теткой. Но это было так давно и так неотчетливо, что Сережа не был уверен, не видел ли он это во сне. Обычное состояние тети Лизы – спокойное удивление. Она удивлялась всему: и поведению родителей Сережи, и возможности такого поведения, и книгам, которые она читала, и газетам, и преступлениям – и не удивлялась только вещам героическим и маловероятным, – например, когда кто-нибудь жертвовал своей жизнью за кого-нибудь, или спасал людей, или предпочитал смерть позору. Она была нетолстая, почти такая же гладкая, как отец, очень чистая, со всегда прохладными, твердоватыми руками.

Однажды они все вчетвером – Сережа, его родители и тетя Лиза – проезжали случайно мимо уличного тира и отец вдруг остановил автомобиль и сказал:

– Ну, девочки, тряхнем стариной, постреляем, а? – мать Сережи ни разу не попала в цель, отец дал несколько промахов, хотя вообще стрелял хорошо, и только тетя Лиза, поставив ребром картонную мишень, срезала ее пятью пулями и сбивала шарик за шариком на подпрыгивающих струях фонтана.

– У тебя рука не дрогнет, Лиза, – сказал тогда отец.

По мере того как Сережа становился старше, начинал больше понимать в людях и бессознательные его суждения обо всем мало-помалу прояснялись, он стал думать, что тетя Лиза была непохожа на других людей в том смысле, что у тех в течение жизни все менялось – в зависимости от обстоятельств, событий, впечатлений; они могли находить нелепым то, что год тому назад им казалось совершенно целесообразным, чрезвычайно часто себе противоречили и вообще менялись настолько, что было даже трудно отличить, кто умен, кто глуп, даже кто красив или некрасив; другими словами, сила их сопротивления внешним причинам, определяющим их жизнь, была ничтожна, и постоянством они отличались лишь в очень редких и всегда ограниченных отношениях. Сережа знал громадное количество людей, потому что через дом его отца проходили самые разнообразные и многочисленные гости, посетители, просители, друзья, женщины и родственники. Тетя Лиза отличалась ото всех тем, что в ней ничего не менялось. Вся сложная система чувств, знаний и представлений, которая у других была движущейся и меняющей свои формы, оставалась у нее такой же постоянной и неподвижной, какой была раньше, – точно мир и вообще был каким-то неизменяющимся понятием.

Так думал о Лизе Сережа, так же думали и другие, и это продолжалось много лет, до тех пор, пока не произошли события, показавшие явную ошибочность этих представлений. Впрочем, у Сережи, знавшего Лизу ближе, чем все остальные, начали зарождаться некоторые сомнения в точности того образа тети Лизы, который он себе создал, еще за несколько лет до этих событий, когда при нем его отец и Лиза спорили о недавно вышедшем романе. В романе этом рассказывалась история человека, посвятившего жизнь женщине, его не любившей, и оставившего ради нее другую, для которой он был дороже всего на свете. Отец защищал этого человека.

– Ты понимаешь, Лиза, ведь главное – это что его тянуло именно к *vilaine*², а другая была почти что безразлична. Ну, она его любила, ну, это очень приятно и добродетельно, но ведь ему другой хотелось, ты понимаешь?

– Я не говорю, что не понимаю причины этого, – сказала Лиза. – Причина ясна. Вопрос в другом: в глупой неверности этого предпочтения, в его ничтожности. Она заслуживала счастья больше, чем та, другая.

– Счастья вообще не заслуживают, Лиза, – кратко сказал отец. – Оно дается или не дается.

² Дряни (*фр.*).

– Нет, заслуживают, – твердо сказала Лиза.

Сережа слушал, его удивляло, что отец говорил мягким и тихим голосом, а тетя Лиза отвечала ему твердо и безжалостно, глаза ее расширились и разозлились, и Сережа сказал:

– Папа, а ты обратил внимание, какая у нас тетя Лиза красавица? – И отец смутился и ответил, что он давно обратил и что все это знают.

Тетя Лиза поднялась и ушла, и вид у отца был смущенный, – что могло показаться удивительным, потому что спор был отвлеченный и не мог иметь никакого отношения ни к отцу, ни к тетке. Тогда, впервые за все время, Сережа видел тетю Лизу вышедшей из своего неизменного спокойствия.

Отца и мать Сережа видел, в общем, сравнительно редко, – тетя Лиза была постоянно с ним. У отца были дела, занятия, поездки; у матери была своя, совсем чужая жизнь. Случалось, что по два, по три дня Сереже не приходилось слышать ее быстрой походки, и только потом она появлялась; входила в его комнату и говорила: «Здравствуй, Сереженька, здравствуй, мой миленький, вот я по тебе соскучилась, прямо ужас». Она вообще говорила с ним такими теплыми, уютными словами, всегда сразу понимала то, что его интересовало в данную минуту, играла с ним охотно и подолгу была мягкая и вкусная. Она знала, почему у некоторых собак длинные хвосты, а у других короткие, почему кошки неласковые, почему у лошадей глаза сбоку и какой длины бывают крокодилы. Тетя Лиза тоже знала все это, но ее ответы никогда не удовлетворяли Сережу, потому что в них не хватало чего-то главного, может быть, этой уютиности и теплоты.

Но полное счастье Сережа испытывал только тогда, когда все уезжали из дому, а его оставляли одного на попечении прислуги. Обычно этому предшествовал приход Сергея Сергеевича с какой-нибудь особенно сложной игрушкой; отец давал ее Сереже, потом говорил, что надеется на хорошее поведение, просил Сережу не огорчаться, и через несколько минут Сережа из окна видел, как отъезжал длинный автомобиль отца. После этого он мог делать все что угодно. Он стрелял из лука в портрет бабушки, съезжал по перилам лестницы, катался в лифте до головной боли – вверх-вниз, вверх-вниз – и все свободное время лежал на полу, объедался пирожными, выливал суп в уборную, ел пригоршнями соль и не хотел умываться. Вечером, лежа на полу, он натирал руками глаза и потом с удовольствием видел перед собой зеленые искры.

Потом, когда он стал старше, его свободы никто не стеснял, и тогда он начал понимать, что родителям не было до него, в сущности, никакого дела. Та постоянная смена людей, которую он помнил всегда, не только не прекращалась, но еще как будто усилилась, – и он жил в стороне от этого. Когда ему было шестнадцать лет, он впервые пригласил тетю Лизу в театр. К тому времени ее авторитет несколько ослабел; она смеялась некоторым его замечаниям, говорила: «Как ты думаешь?» – и Сережа чувствовал себя почти равным ей. Родителей Сережи и он, и она называли «они» – точно бессознательно противопоставляя их себе. Они вместе читали, слушали одни и те же мелодии, любили одни и те же книги. Лиза была ровно на пятнадцать лет старше Сережи. Он начал видеть ее во сне, в смутных и неправдоподобных обстоятельствах; потом, однажды, – была поздняя весна и третий час ночи, Сережа читал у себя в комнате, – вдруг во всем доме загорелся свет, послышались шаги и голоса; родители Сережи вернулись с бала и привели с собой еще нескольких человек, чтобы «кончить вечер» дома; через несколько минут раздался знакомый стук в дверь и вошла Лиза, в очень открытом черном платье, с голой спиной, обнаженными – прохладными, подумал Сережа, – руками и низким вырезом на груди. Глаза ее казались больше, чем обычно, под прямыми ресницами, и возбужденная улыбка была не похожа на всегдашнюю. В эту минуту Сережа почувствовал необъяснимое волнение, такое, что, когда он заговорил с ней, у него срывался голос.

– Перечитайся ты, Сережа, – сказала она, садясь рядом с ним и положив руку на его плечо. – Я пришла пожелать тебе спокойной ночи, – и она тотчас же ушла, не обратив ника-

кого внимания на необычное состояние Сережи, как ему показалось. После того как за ней закрылась дверь, Сережа лег не раздеваясь; его слегка тошнило, было смутно, предчувственно и приятно.

И вот, с необыкновенной быстротой, за два месяца, прошедшие с этого вечера до отъезда Сережи на море, произошла глубокая и непоправимая перемена, которая началась с того, что весь идиллический мир затянувшегося, запоздавшего Сережиного детства рассыпался и исчез. За это время не произошло, однако, никаких фактических изменений; по-прежнему задушевно и нежно звучал голос матери, когда она говорила с кем-то по телефону, по-прежнему отец ездил взад и вперед по городу, по-прежнему вечерами громадные комнаты наполнялись разными людьми, и все было так же, как раньше. Но Сережа вдруг понял множество вещей, которые хорошо знал и прежде и о которых имел совершенно неправильное представление. Отрывочные фразы из разговоров отца с матерью теперь ему стали ясны, так же, как сдержанное раздражение Лизы; он заметил многое другое – что деньги тратились беспорядочно и уходило их во много раз больше, чем нужно. Он понял вдруг, как жила его мать, – и это вызвало у него сожаление, смешанное с нежностью. Присутствуя иногда при разговорах в гостиной, он вслушивался внимательно в то, что говорилось, следил за любопытнейшей скачкой интонаций разных людей и иногда, закрывая добровольно для себя смысл произносившихся фраз, слушал только звуковые их смещения, похожие в общем на какой-то своеобразный концерт – с повышениями, понижениями, монотонными баритональными нотами, высокими женскими голосами, которые ахали и срывались и вновь возникали потом, под глухой, глубокий аккомпанемент хрипловатого баса; и, замуривая глаза, Сережа ясно видел перед собой турецкий барабан с туго натянутой, мертвенно безразличной кожей – на том месте, где в самом деле никакого барабана не было, а сидел почтеннейший старик, философ и специалист по консультациям о многочисленных нарушениях международного права.

Отец Сережи принадлежал к числу немногих людей, которым по наследству досталось значительное богатство и которые не только не растратили, но еще и увеличили его. Этому способствовало и то, что он был – широкий, небрежный и великодушный – в делах умен и, в сущности, осторожен, и то, главным образом, что всю жизнь ему сопутствовала слепая удача. У него были предприятия в нескольких странах, на него работали тысячи людей, и это его положение объясняло тот факт, что он был знаком со всеми знаменитостями и что в его доме собирались музыканты, писатели, певцы, инженеры, промышленники, актеры и представители той особой породы людей, которые всегда прилично и хорошо одеты, но источники доходов которых – если проследить это до конца, для чего в большинстве случаев понадобилось бы либо счастье, либо бесцеремонность полицейского расследования – стало быть, бывали почти всегда такого рода, что в них никак нельзя было признаться. И в то время, как Лиза относилась к этим людям с брезгливостью, отец хлопал их по плечу, вообще вел себя с той широкой и фальшивой задушевностью и откровенностью, истинную ценность которых знали только очень близкие люди. Когда Сережа сказал своему отцу, что его обкрадывают, отец рассмеялся.

– Ты не веришь?

Тогда он, не переставая посмеиваться и глядя на Сережу веселыми глазами, ответил:

– А хочешь, я тебе скажу, кто и на сколько ворует? – И объяснил Сереже, что так и нужно, что другие все равно будут воровать. Но это убеждение не вызвало в нем ни огорчения, ни удивления, он принимал это как должное и иногда забавлялся тем, что ставил своих служащих в глупое положение – как он сделал, например, с шофером, обкрадывавшим его на масле, бензине и тысяче других вещей и неизменно представлявшим «трюкованные» фактуры. Он сказал владельцу гаража, в котором все это обычно покупалось, что это обходится ему слишком дорого и что он будет вынужден переменить поставщика – и в доказательство представил фактуры, от которых владелец гаража пришел в ужас и только повторял бледным голосом:

– Oh, non, monsieur, jamais, monsieur³, – и тотчас принес книгу записей, где были совершенно другие суммы, разница между которыми оказалась чуть ли не половинной. Шоферу, однако, он ничего не сказал, и тот выяснил катастрофу только в гараже, где ему объяснили все. Он уже приготовился складывать чемоданы, но в тот же день ему был заказан автомобиль, и Сергей Сергеевич только вскользь заметил, что бензин, кажется, подешевел, потрепал шофера по плечу, сказал:

– Ah, sacré Joseph⁴, – и по дороге все посмеивался. Шофер, впрочем, через некоторое время, после длительных сомнений и борьбы противоречивых чувств, ушел сам, так как ежедневное сознание того, что он теперь не может воровать, а принужден довольствоваться жалованьем, довело его до нервного заболевания. Он был простой человек, из овернских крестьян, нечувствительных к физической усталости, но незащищенный душевно и умственно против непредвиденных и, в сущности, незаконных положений. Он потом проворовался довольно крупно и попал было в тюрьму, из которой его вызволил Сергей Сергеевич – но было слишком поздно и разница оказалась лишь та, что вместо тюрьмы его посадили в сумасшедший дом, откуда он вышел уже совершенно разбитым человеком.

В других случаях это бывало менее трагично, но так или иначе Сергей Сергеевич, действительно, знал, на сколько его обкрадывают, и только ограничивался тем, что включал эти суммы как самостоятельную и естественную статью в свои бюджетные исчисления, в которых вообще было множество статей. Он субсидировал театры, поддерживал начинающие таланты, в которые очень плохо верил сам, вообще платил всегда и всюду, это входило в его обязанности владельца большого состояния, и он выполнял свой долг так же, как делал все остальное, – с удовольствием, с улыбкой и кажущимся нерассуждающим одобрением. Он говорил, например, редактору крупной желтой газеты, в которой должны были появиться статьи, пропагандирующие одно из его предприятий, – внося значительную сумму на благотворительные цели неправдоподобно фантастической организации, возникшей в воображении редактора полчаса тому назад и расцветшей там, как романтический мираж, призрачность которого была совершенно очевидна для всякого нормального человека:

– Я знаю, мой дорогой, что ваша неподкупная честность... – И редактор уходил, испытывая сложное чувство, состоявшее главным образом из благодарности и сожаления к этому наивному миллионеру и смутного подозрения, что если наивный миллионер только делает вид, что верит, а в самом деле знает все, то это пожертвование и прочувственные слова о неподкупности звучат уж слишком издевательски.

С такой же беззаветной верой в будущее он принимал певца неопределенной национальности, но явно южного типа – с черными, как вакса, волосами, грязновато-желтыми белками глаз и руками спорной чистоты. Со всем этим он никогда не давал больше, чем полагалось по сложной системе ценностей, выработанной многолетним опытом и в силу которой, например, субсидии людям южного происхождения всегда были значительно меньше, чем субсидии представителям северных рас, к которым, впрочем, он питал нечто вроде национальной слабости. Нескончаемая армия стрелков прошла через его жизнь, удивительное разнообразие просителей, начиная от корректных людей с ласковыми баритонами и сложной биографией, непременно заключавшей в себе несколько патетических моментов, внушенных чаще всего чтением романов даже не третьего, а второго сорта, имевших, стало быть, несомненную вдохновляющую ценность, – и кончая хриплыми, почти расплывчатыми персонажами, бесконечно удаленными от каких бы то ни было отвлеченных идей, сосредоточенными исключительно на предметах первой необходимости, и стоимость которых колебалась между двумя и пятью франками. Множество людей писали ему письма с разными предложениями, идущими от лако-

³ Нет, месье, никогда, месье (*фр.*).

⁴ Ох, шельма Жозеф (*фр.*).

нически-уверенного «недурна собой» до «странного очарования» и даже «неукротимой жестокости» некоторых наиболее непримиримых кандидатов на семейное счастье, идея которого тоже, таким образом, таила в себе устрашающее многообразие.

В его жизни, однако, не все были только письма и просьбы о деньгах; два раза на него покушались, и оба раза его спасла счастливая случайность, та самая слепая удача, которая не изменяла ему нигде и выводила его из самых безвыходных положений, вроде смертного приговора, вынесенного ему в Крыму революционным трибуналом, в котором не было ни одного трезвого человека; и часовой плохо запертого сарая, в котором он сидел, был убит шальной пулей какого-то не в меру расстрелявшегося матроса, что позволило Сергею Сергеевичу бежать и добраться до севастопольской пристани, возле которой не было ни одного парохода, – и только в почти наступившей темноте их силуэты чернели на рейде. Сбросив куртку и сапоги, он спрыгнул с пристани в ледяную осеннюю воду и в бурный холодный вечер доплыл до английского миноносца, капитану которого он через полчаса рассказал свою историю, смеясь в особенно нелепых местах, – там, например, где речь шла о заседании революционного трибунала. А через два дня в константинопольском кабаре он поил шампанским чуть ли не половину экипажа и пел ирландские песни, которых не знал, что, впрочем, не имело значения; кроме этого, он запоминал их с такой же легкостью, как все остальное.

Легкость эта была вообще характерна для всей его стремительно-счастливой жизни. Он никогда не задумывался над важными решениями; они с самого же начала казались ему ясными и исключающими возможность ошибки, которая была бы просто очевидной глупостью. Он понимал все так быстро, что отсюда у него образовалась привычка не кончать фраз. Так же, как хорошо грамотный человек, читая книгу, не теряет времени на постепенное и последовательное соединение букв и не повторяет про себя слова, а скользит глазами по привычным зрительным изображениям печатных строк, и все быстро и послушно проходит перед ним, – так он разбирался в делах, выводах и возможностях какого-либо предприятия, или начинания, или треста, нуждавшихся, казалось бы, в длительном изучении. Вместе с тем он никогда не требовал от других, чтобы они старались поспевать за ним в его заключениях, точно заранее считал, что имеет дело с кретинами; и когда кто-нибудь из его директоров обнаруживал быстрое понимание дела, он всегда был приятно удивлен. Но так как и в том и в другом случае он говорил одни и те же лестные и любезные вещи, то недостаточно знающие его люди полагали, что он не умеет отличать хорошего служащего от плохого и просто его счастье, что у него подобрался такой хороший персонал почти всюду.

Но он никогда не любил по-настоящему – как никогда не был до конца откровенен, – и это знали и Ольга Александровна, и Лиза. С женой он был всегда очень хорош, как с самой лучшей подружкой; но здесь – это был первый случай в его жизни – она ждала от него другого, того самого, о чем она читала в романах, над которыми он продолжал смеяться, потому что для него было очевидно, что эти книги написаны неумелыми, не очень культурными, чаще всего примитивными людьми; но он твердо знал, что об этих же вещах были написаны самые прекрасные страницы разных литератур, – и эти вещи он понимал и даже любил, но только тут его непогрешимая легкость и безошибочность оказывалась несостоятельной; и он сознавал эту свою вину перед Ольгой Александровной, которой он как-то давно, в начале их супружества, не мог ничего ответить, когда, подняв на него свои темные и нежные глаза, она сказала ему:

– Ты говоришь о хорошем отношении. Я, Сережа, говорю о любви.

Любовь, действительно, была самым важным в жизни Ольги Александровны и единственным, что ее по-настоящему интересовало и занимало. Все остальное имело только, так сказать, предварительную ценность и находилось как бы в функциональной зависимости от самого главного. Надо было ехать, было необходимо ехать куда-нибудь – потому что там ждала ее встреча; надо было прочесть такую-то книгу – чтобы потом говорить о ней с тем, кто был

единственным, чьи разговоры казались ей интересны; нужно было красивое платье – для того, чтобы понравиться; нужно было, вообще, – и иначе было невозможно – любить и переживать.

Она вышла замуж в восемнадцать лет, но уже до брака у нее было три неудачных романа. Она влюбилась в Сергея Сергеевича, как только его увидела; это было на балу, в Москве, и тогда же она сказала своей матери, что за этого человека она выйдет замуж, что, действительно, произошло через несколько месяцев. Она никогда не была хороша собой, но обладала такой могучей силой привлекательности, что сопротивляться ей было трудно и ненужно. Ее любили все: и родители, прощавшие ей все, и прислуга, и сестры, и братья; она с необыкновенной легкостью добивалась того, чего хотела; и ее также любили дети и животные. И даже Сергей Сергеевич, имевший о женщинах снисходительное суждение, сразу почувствовал к ней такое влечение, над которым он сам посмеивался и шутил, но противостоять которому не мог. После первого же поцелуя она сказала ему, что она его очень любит и хочет выйти за него замуж. Она была небольшого роста, волосы у нее были черные, над темными ее глазами были коротенькие ресницы, отчего глаза казались больше, чем они были, – первое впечатление, которое она производила, было впечатление необыкновенной молодости и здоровья – и в ней, действительно, текла неутомимая и обильная кровь, она не знала ни усталости, ни болезней, ни недомогания. Она изменила мужу через четыре месяца после брака, но это было случайно и несущественно.

После рождения сына она в течение целого года не обращала никакого внимания на свою внешность, проводила все время с ребенком, с жадностью следила, как он начал ходить, и вообще была занята только им. Потом, однажды вечером, уложив его спать, она остановилась перед зеркалом, осмотрела себя внимательно, ахнула и пришла к мужу, чтобы спросить, как он еще может ее любить. Он в это время писал – и, оторвавшись на секунду от листа бумаги, сказал:

– Не смотря, Леля, – и продолжал писать, пока она не подошла к нему вплотную и не села к нему на колени. Тогда же возник очередной спор о любви; эти споры всегда начинала Ольга Александровна, к которой в то время Сергей Сергеевич уже не ощущал того непобедимого влечения, которое заставило его жениться на ней; и теперь ему казался необъяснимым тот легкий и почти прозрачный туман, который был характерен для первых месяцев их близости. Теперь начался период его отрицательной любви, как это называла Ольга Александровна; он охотно ей все прощал, никогда на нее не сердился и удовлетворял все ее желания, но никак не мог бы сказать, что без нее жизнь потеряла бы смысл.

– Ну, а что ты думаешь о супружеской измене?

– Темперамент и, в некоторой степени, этика, – сказал он.

– Все какие-то ненастоящие, ничего не объясняющие слова, – сказала она. – Что такое темперамент? Что такое этика?

Он достал с полки два тома Брокгауза и Эфрона, дал их ей и сказал:

– Прочти и попробуй подумать. Знаю, что тебе это непривычно. Но возможно, Леля. – И когда она уходила, он крикнул ей вслед: – И случайность тоже.

В дальнейшем, уже за границей, ему представилось множество возможностей проверить эти суждения о том, чем вызывается супружеская измена, еще и потому, что через некоторое время он заметил, что у Ольги Александровны уходили уж что-то слишком большие суммы денег. Он быстро подсчитал, сколько она должна была бы тратить, если не возникало чрезвычайных и непредвиденных расходов, и увидел, что количество денег, которое ушло, превышало вдвое эту сумму. Тогда он сказал, вскользь, как всегда, о шантаже, о том, что неосторожно вообще писать письма. И так как Ольга Александровна по-прежнему делала вид, что не понимает, он сказал ей, что все равно знает и что она не должна бояться каких бы то ни было разоблачений. Через некоторое время к нему явился человек в черном пальто, черном котелке, черных туфлях и черном галстуке, которого он принял с обычным своим радушием, но сказал, что в его распоряжении ровно пять минут. Когда этот человек объяснил ему цель визита, Сер-

гей Сергеевич сказал, что он советует заняться чем-нибудь другим, потому что это не доставит ему ничего, кроме огорчений. Человек, не смутившись, заговорил о газетах. Сергей Сергеевич встал, чтобы подчеркнуть, что визит затянулся, и сказал:

– Лучше не пробуйте. И, поверьте, я знаю, что говорю. – И когда тот уже уходил, он сказал ему с вопросительной улыбкой: – Хотите пятьдесят франков за беспокойство?..

Больше он никогда не принимал ни этого человека, ни его последователей, а на многочисленные письма не отвечал, и вопрос был ликвидирован, когда он сказал своей жене – отрывочно, как всегда, и не объясняя:

– Выбирала бы более порядочных, Леля.

Он сказал эту фразу, желая дать жене дружеский совет, но заранее зная, что она ему не последует. Давно уже он понимал, что ее выбор никак не мог руководствоваться какими бы то ни было рациональными соображениями, и знал, что она выбирает людей не по признаку достоинств, а по своеобразному соединению физического тяготения с интуитивным предчувствием их особенного нравственного склада, в котором эти самые этические соображения, чаще всего, не играли никакой роли. Сергей Сергеевич понимал также, почему он не подходил для своей жены. Объяснение заключалось отчасти в том, что ему было скучно рассказывать о своих переживаниях, – он слушал ее из деликатности несколько минут, потом говорил: «Да, Леля, я знаю», – и, действительно, знал заранее все, о чем она собиралась рассказывать. Те же, другие, были, чаще всего, люди душевно примитивные, не понимающие своих чувств, – и каждый роман Ольги Александровны был как бы новым объяснительным путешествием в сентиментальные страны, где она играла роль гида, – как это сказал о ней Сергей Сергеевич, разговаривая как-то с Лизой. Вообще в доме многое было неблагополучно, и этого не замечала только Ольга Александровна, и делал вид, что не замечал, хотя знал все, до мельчайших подробностей, Сергей Сергеевич; но это хорошо знала Лиза и имела для этого все основания, и это чувствовал теперь Сережа.

* * *

Семья Сергея Сергеевича редко проводила лето вместе. В этом году, как почти всегда, все получилось неожиданно. Ольга Александровна, после нескольких дней особенного возбуждения и разрешения многих мучительных вопросов о том, вправе ли она или не вправе поступать так, как ей диктовали ее желания, внезапно уехала, неопределенно, – в Италию. Перед отъездом она с бьющимся сердцем и пылающим лицом пошла к Сергею Сергеевичу. Несмотря на то, что вся жизнь Ольги Александровны состояла именно из отъездов и измен и, казалось, можно было бы уже к этому привыкнуть, она всякий раз переживала все это с такой же силой, как и в ранней молодости, и так же мучилась, как всегда, потому что совершала нечто нехорошее и запретное и дурно поступала по отношению к мужу и к Сереже. Но то, в жертву чему она приносила все эти бесплодные чувства, казалось ей настолько замечательным, что в окончательном решении вопроса сомнений быть не могло. И совершенно так же, как в ней было неискоренимо понимание своего долга жены и матери, так же ее иллюзии по поводу очередного отъезда были свежи и неувядаемы. Каждый раз она уезжала навсегда, в неизвестность, обрекая себя, быть может, на полунищенское существование. Если это выходило иначе, то не по ее вине.

Но, направившись к Сергею Сергеевичу, она вдруг вспомнила, что сегодня был четверг, его приемный день. Тогда она позвонила ему по телефону и тотчас услышала его ровный голос в ответ:

– Я очень занят, Леля. Да. Не раньше чем через час. Не можешь? Хорошо, я сейчас.

Он вошел к ней, она была уже в шляпе и перчатках, в дорожном костюме, с несессером в руках. В глазах ее Сергей Сергеевич увидел опять то тревожное выражение, которое хорошо

знал. Но оттого, что он его увидел, его лицо совершенно не изменилось, как не изменились улыбка и голос.

– Ну что, едем, Леля? – сказал он.

– Да, – ответила Ольга Александровна, причем это «да» вышло помимо ее желания упавшим и невольно актерски-значительным.

– Далеко?

– В Италию.

– Прекрасная страна, – мечтательно сказал Сергей Сергеевич, – впрочем, ты это знаешь не хуже меня, ты ведь не впервые едешь в Италию. Очень хорошо, ты что-то нервничала в последнее время, это тебя развлечет. Я рад за тебя. Ну, желаю тебе всего хорошего, пиши.

Он поцеловал ей руку и ушел. Она постояла несколько секунд, потом вздохнула и стала спускаться вниз, к подъезду, где ее уже ждал автомобиль. Ни Сережи, ни Лизы не было дома – они ушли с утра.

Сергей Сергеевич вернулся к себе, где его уже ждала очередная посетительница, знаменитая артистка Лола Энэ, пришедшая просить у него субсидию на мюзик-холл, который она собиралась открывать. Это была очень старая женщина, годившаяся по возрасту в матери Сергею Сергеевичу, но убежденная в своей неотразимости, перенесшая много хирургических операций, проводившая ежедневно долгие часы в заботах о массаже, наружности и туалетах. На первый взгляд, и особенно издали, она, действительно, могла показаться молодой. Сергей Сергеевич мельком взглянул на мертвенно неподвижную кожу ее лица и длинные черные ресницы, туго загнутые вверх, и вспомнил, что эта женщина только года два тому назад вышла замуж за человека, который был моложе ее больше чем на тридцать лет.

– *Toujours délicieuse, toujours charmante*, – сказал Сергей Сергеевич, здороваясь с ней. – *Je suis vraiment heureux de vous voir*⁵.

Она улыбнулась, обнажив свои прекрасные зубы. Но чувствовала она себя, – как давно, уже много лет, – неважно. Сейчас ее мучил геморрой, она сидела точно на раскаленном пятке, и когда она смеялась или сморкалась, то острая боль, начинавшаяся именно в том месте, где был геморрой, отдавалась во всем теле. А когда эта боль проходила, ей начинало смертельно хотеться спать и она делала усилие, чтобы не уронить голову на грудь. Иногда ей это не удавалось, и она все же засыпала на секунду; открывая потом глаза и вздрагивая, она объясняла, что у нее бывают такие минутные *éblouissements*⁶, объясняющиеся усиленной работой. Она прожила долгую, шумную и, в сущности, трудную жизнь; и из людей, видевших ее дебюты в театре, давно уже почти никого не было в живых. Но она не задумывалась над этим.

Она вообще не задумывалась. Ее память была загромождена пьесами, репликами, диалектами и интонациями бесконечного ее репертуара. Так как она была очень глупа, то, несмотря на долгую свою карьеру, она не научилась ничему, ничего не понимала в искусстве и слепо верила театральным критикам. Она искренне считала шедевром злополучную «Даму с камелиями»; впрочем, она лично очень близко знала ее автора, которого считала гением. Она с восторгом говорила о трагедиях Корнеля, которых, помимо всего, просто не могла понять из-за недостаточной своей культуры; но с немалым энтузиазмом она относилась ко многим современным пьесам, уже вовсе малограмотным и не имеющим даже самого отдаленного отношения к искусству и авторы которых находились примерно на ее умственном уровне, – с той разницей, что ее ум был неподвижен, а их – отличался некоторым примитивным динамизмом.

Жизнь ее прошла в пьесах и романах, которые она помнила все, несмотря на их чудовищное количество. В молодости она, действительно, была очень хороша собой, и, собственно, это бесспорное ее животное великолепие и определило ее карьеру. Она приехала в Париж из

⁵ Всегда изысканна, всегда очаровательна... Я так рад вас видеть (*фр.*).

⁶ Обмороки (*фр.*).

Нормандии шестнадцатилетней девушкой с тем, чтобы поступить горничной, и уже до ее отъезда старая ее тетка, которая провела в Париже много лет, учила ее, как нужно себя вести, на чем выгоднее обкрадывать хозяев, как разговаривать с поставщиками провизии, и снабдила ее вообще множеством советов, которым Лола – ее настоящее имя было Мария – собиралась в точности следовать. Но вышло иначе, потому что она поступила сразу же к человеку, совершенно одинокому, страстному любителю театра.

Он был довольно богат и вел театральный отдел в одной из газет правого направления. Так как он начинал в те времена стареть и так как бурная жизнь его успела утомить, то признаки этой усталости и еще некоторой наивности, происходившей от восторженного и ограниченного его ума, начали сказываться на стиле его статей и фельетонов, приобретавших восклицательно-разговорный тон. «Est-il possible que ce soit ainsi? Allons, allons!» – или – «Mais si, mon pauvre lecteur, mais si!»⁷ Новаторы, по его мнению, были просто *des gens de mauvaise volonté*⁸. Но он был, в сущности, неспорченный человек с чистым сердцем, и это было тем более удивительно, что он провел свою жизнь в актерской среде.

Он влюбился в Лолу с необыкновенной и неожиданной силой, которой совершенно не соответствовали его физические возможности. Так как он был очень влюблен, то находил в Лоле все достоинства и решил, что единственная вещь, достойная ее, это рампа. Он был довольно влиятельным человеком, близко знавшим всех актеров и директоров театра, и, благодаря ему, Лола, после нескольких месяцев подготовки, дебютировала в небольшом театре на окраине Парижа. С тех пор ее карьера не была ничем прерываема. Ее первый покровитель вскоре умер, после роскошного ужина с шампанским и какими-то древнейшими винами, жестокого совершенства которых уже не мог вынести его усталый организм. Он умер сразу, едва лег в постель, и Лола, надев на голое тело пальто, отправилась за доктором, который пришел и сказал:

– Il n'est plus, mon enfant⁹.

Она стояла рядом с кроватью, пальто ее распахнулось, и доктор, не будучи в силах – вдруг, так, в первый раз в своей жизни, – сопротивляться внезапному и неудержимому желанию, начал целовать в совершенном исступлении это послушное тело и тотчас же увез Лолу к себе, где она и осталась на некоторое время.

Таковы были важнейшие события в ее жизни; это происходило бесконечно давно, более полувека тому назад. Потом все шло по раз навсегда установленной программе: пьесы, покровители, покровители, пьесы. Когда ей было двадцать лет, у нее был первый любовник, то есть первый человек, к которому она испытала сильное физическое влечение. Но и он вскоре умер, свалившись с пятого этажа лестницы в пьяном виде, – он был по профессии маляр. Он был единственным человеком, которого она любила. Все остальные – с неизменными фразами, всегда напоминавшими ей театральные реплики, с их смешным и жалким исступлением, и другие, действительно замечательные люди своего времени, – были ей почти безразличны: *elle les laissait faire*¹⁰.

Среди них были политики, писатели, музыканты, но никто из них не мог даже отдаленно сравниться по привлекательности с погибшим маляром, корсиканцем по национальности, звонко хлопавшим ее твердой рукой по голому телу ниже спины и от которого так приятно пахло недорогим вином и крепким потом крестьянского лохматого тела. Но по мере того, как шло время, многочисленные журналисты создали совершенно иной облик Лолы, который не имел с ней ничего общего. Она разрешала им писать все, что они хотели, – и вот появлялись ее

⁷ «А мыслимо ли это? Полноте!». «Ну конечно, мой дорогой читатель, ну конечно!» (*фр.*)

⁸ Людьми дурного нрава (*фр.*).

⁹ Его больше нет, дитя мое (*фр.*).

¹⁰ Она их не замечала (*фр.*).

разговоры о пластическом искусстве, об испанском театре, об итальянской живописи и даже о русской литературе, о которой она не имела никакого представления. Так, мало-помалу, за ней установилась репутация эрудитки – за это она как-то упрекала, выпив лишнее, своего старого знакомого, специалиста по коротким статьям о классическом балете: «*Tu m'as traité d'érudite, tu croyais peut-être que je ne le saurais pas?*»¹¹ И специалист по коротким статьям о классическом балете не знал, как это понять, и, в конце концов, решил, что это шутка.

Годы шли, была все та же жизнь, рассветы, поздние вставания, романы, все те же слова о любви, божественности, экстазе, рестораны, вина, диваны – и, несмотря на крепчайший организм, к сорока годам стало пошаливать сердце, начались непонятные боли в области живота, и знаменитый доктор рекомендовал ей более умеренный образ жизни. Но когда она спохватилась, было слишком поздно, и последние двадцать лет она потратила на борьбу с болезнями и старостью. Мало-помалу дошло до того, что ей было запрещено все, что она любила. Нельзя было ни есть, ни пить как следует, нельзя было принимать очень горячие ванны, вообще ничего нельзя было. Она примирилась и с этим. У нее давно было некоторое состояние, она могла бы уехать на юг, где ей принадлежала прекрасная вилла возле Ниццы, но она ни за что не хотела оставить сцену, к которой слишком привыкла за пятьдесят лет.

В самые последние годы она стала выступать в мюзик-холле и вот теперь, решив открыть собственный театр, но жалея на это тратить деньги, обратилась к Сергею Сергеевичу, которого знала так же, как его знали все. Она объяснила ему, что это будет с его стороны великодушный жест, за который ему будет благодарна многочисленная парижская аудитория, но что, в сущности, это будет одновременно и чрезвычайно удачным помещением денег, так как мюзик-холл сразу же будет давать бешеные сборы. Она сказала Сергею Сергеевичу, что у нее есть уже идеи о том, каким должно быть *revue*, которое могло бы называться «*Ça à Paris*» – *il y aura des décors somptueux*¹².

И она засыпала Сергея Сергеевича целым каскадом слов, неубедительных в своей пышной банальности, точно заимствованных из того убогого языка, которым писались отчеты о премьерных во всех газетах. Это был тот самый стиль, которым пользовался еще ее первый покровитель и бесконечные образцы которого она читала потом всю свою жизнь. Туда входили «*décors somptueux*», «*tableaux enlevés à un rythme endiablé*», «*le charme étrange de m-lle*», «*la voix chaude et captivante de m-r*»¹³ и т. д. Лола не умела говорить другими словами, да никто никогда и не объяснял ей, что этот язык невыразителен и плох; сама же она этого не подозревала. Сергей Сергеевич внимательно слушал Лолу, говоря иногда: «*Merveilleux, admirable, il fallait le trouver...*»¹⁴ – и думал о том, что если бы Лола была моложе, то она все это устроила бы сразу и не обращалась бы к нему. Теперь ему надо было найти предлог, чтобы уклониться от этого субсидирования, которое было бы бессмысленной потерей денег. Поэтому, как только Лола остановилась, он сказал с задумчивой и убедительной интонацией:

– *J'aime beaucoup votre projet, madame. Oui, je l'aime beaucoup.* – Он остановился на секунду, как бы мысленно представляя себе все великолепие этого проекта. – *Une salle pleine à craquer et la foule en délire, la même foule qui vous a toujours adorée*¹⁵.

Он еще раз сделал паузу, потом вздохнул и прибавил:

– К сожалению, завтра я уезжаю в Лондон на несколько недель. Как только я вернусь, я вам телефонирую, и поверьте, что я был бы счастлив и горд... вы понимаете...

¹¹ Ты назвал меня эрудиткой, ты думал, может быть, что это на самом деле не так? (*фр.*)

¹² *revue*... «Так в Париже» – и будут пышные декорации (*фр.*)

¹³ «роскошные декорации», «сцены в неистовом ритме», «странное очарование мадемуазель», «теплый и пленительный голос месье» (*фр.*)

¹⁴ Прекрасно, восхитительно, надо же так придумать... (*фр.*)

¹⁵ Мне нравится ваш проект, мадам. Да, очень... Зал забит до отказа, и толпа безумствует – та самая толпа, которая вас всегда обожала (*фр.*)

Лола поднялась с кресла рассчитанным и быстрым движением, от которого раздался легкий хруст и по усталому телу пошли, смешиваясь друг с другом в одно ощущение мути и дури, разнообразные боли: колело отсиженную ногу, болел геморрой, стучало в правом виске, но на лице ее была все та же «ослепительная» улыбка, та самая, которая фигурировала на всех фотографиях и казалась удивительной, потому что должна была бы сводить искусственные челюсти Лолы, сделанные из добротнейшего материала. Она протянула Сергею Сергеевичу дрожащую руку с ярко-красными ногтями и ушла быстрой походкой, которую были способны во всей мере оценить только два человека: ее доктор и она сама.

По дороге она вспомнила слова Сергея Сергеевича о *foule qui l'a toujours adorée*¹⁶ и еще раз улыбнулась. Она искренне верила, что ее действительно обожают, искренне верила в свое сценическое призвание, и это было для нее тем единственным, из-за чего стоило так мучиться и жить, потому что все остальное уже умерло. Ради этого она шла на унижения, отказы, ради этого – для иллюзии своей неувядаемой молодости – она вышла недавно замуж за человека, который, при всей своей добросовестности, не мог скрыть в некоторые минуты своего отращения к ней, – и она делала вид, что этого не замечает. Все это делалось ради *foule qui l'adoree*¹⁷, которой на самом деле так же не существовало, как молодости. Но этому Лола никогда бы не поверила, потому что в таком случае ей оставалась только смерть, которая была еще страшнее, чем все болезни, вместе взятые.

Следующим посетителем, задержавшим Сергея Сергеевича всего на несколько минут, был известный драматург, режиссер и актер в одно и то же время, автор бесчисленного количества пьес, полный пятидесятилетний мужчина, жеманный, как кокетка, беспрестанно менявший выражение лица и интонации, чрезвычайно довольный собой и своими успехами и настолько убежденный в своем превосходстве над другими, что от этого даже добродушный. Он был совершенно непроницаем для искусства в том смысле, что все, претендовавшее на подлинный талант, подлинное понимание и подлинное вдохновение, для него не существовало и не производило на него никакого впечатления – настолько это было чуждо ему и далеко от его собственного творчества, в котором раз навсегда все было определено и сводилось к довольно многочисленным и нередко забавным вариациям одной и той же темы об адюльтере. Иногда, впрочем, его герои затрагивали и общие темы, и даже социальные; но это всегда бывало так плоско, что он сам говорил, что еще раз убедился – эти сюжеты публику не интересуют.

Он пришел сияющий и счастливый, хотя, в общем, не очень любил Сергея Сергеевича за то, что тот относился к нему без достаточного уважения, но он извинял его – *avec sa fortune, il peut se permettre...*¹⁸ Он предложил Сергею Сергеевичу билет на бал, который устраивал в пользу неимущих артистов. Сергей Сергеевич извинился, сказав, что не может быть, так как уезжает, но что, конечно, возьмет несколько билетов и предложит знакомым и что, не желая подвергать организатора бала риску неуспеха, заплатит за них сейчас же. Кроме того, он просит принять сумму, которая... – затем он написал чек и, вручив его, не взяв ни одного билета, пожал руку своего гостя и попрощался с ним.

Последней посетительницей была совсем юная актриса. Она тоже пришла с личным приглашением на премьеру пьесы, в которой она должна была играть главную роль. Она была очень весела и довольна, так как до того, как ехать к Сергею Сергеевичу, была у врача, убедившего ее, что сифилис, которым она совсем недавно заболела, так как только что начинала свою карьеру, – совершенно и бесследно излечим. Она рассказала Сергею Сергеевичу, что все *épatant*, что ее коллеги *tous de chics types*¹⁹ и что она очень довольна.

¹⁶ Толпе, которая ее всегда обожает (*фр.*).

¹⁷ Толпы, которая ее обожает (*фр.*).

¹⁸ С его состоянием, он может себе это позволить... (*фр.*)

¹⁹ В изумлении... симпатичные парни (*фр.*).

– Alors, mon petit, – сказал Сергей Сергеевич, – qu'est-ce que tu veux?²⁰

Она объяснила, что телефонные и письменные приглашения, по ее мнению, не действуют и что поэтому она решила лично это сделать.

– Я тебе очень благодарен, постараюсь прийти, – ей он не счел нужным объяснять, что уезжает.

Лиза и Сережа вернулись только к обеду. Сергей Сергеевич сказал:

– Ну, дети мои, я рад вас видеть, а то я уж начал думать, что я просто импресарио. Представьте себе, три визита – и все артистические.

Сергей Сергеевич сразу увидел, что с Лизой происходило что-то необыкновенное: она несколько раз засмеялась, что ей было несвойственно, глаза ее блестели, движения стали быстрее. Но о причинах этого Сергей Сергеевич не спросил. Сережа тоже был возбужден после прогулки; но тут все было понятно – таким он возвращался всякий раз из Булонского леса.

– Начинаются отъезды, – сказал Сергей Сергеевич. – Послезавтра я должен быть в Лондоне. Леля уехала сегодня днем.

– Мама уехала?

– Леля уехала?

Но Сережа спросил голосом, в котором было одновременно удивление, огорчение и неожиданность. Лиза сказала те же слова приблизительно так, как если бы хотела сказать: «Я так и думала; очень мило, хотя, конечно, этого следовало ожидать».

– В Италию? – спросила Лиза.

– Почему ты так думаешь?

– Ну, я сказала в Италию, как сказала бы в Австралию или Турцию.

– Как странно, Лиза, ведь ты угадала: действительно, в Италию. Я думаю, через неделю мы получим письмо. Нет оснований сомневаться, что все будет хорошо, как всегда.

– Да, как всегда, – сказала Лиза.

Сережа слышал этот незначительный разговор, который он теперь понимал иначе, чем понял бы год тому назад, когда не знал ничего, и за теми же самыми словами был теперь иной смысл. Значили они то, что Сергей Сергеевич не хотел ни в чем обвинять Ольгу Александровну и заранее ей все прощал, а Лиза находила, что поступать так нехорошо и недостойно. Так это понимал Сережа, но это было неправильно.

– А ты, Лиза, как? – сказала Сергей Сергеевич после того, как прошла эта слегка тревожная пауза, вызванная мыслями об отъезде Ольги Александровны. – Ты едешь?

– Еду, я думаю, – сказала Лиза обычным своим медленным голосом. – Еду, я думаю. Я думаю.

– Мы уже знаем, Лиза, что ты думаешь, – терпеливо сказал Сергей Сергеевич. – Но что именно ты думаешь?

– Мы с Лизой решили ехать на юг, – быстро сказал Сережа. – Завтра.

– А меня не приглашаете?

– Ты же в Лондон, – пожав плечами, сказала Лиза.

– Из Лондона тоже люди ездят.

– Приезжай из Лондона, – сказала Лиза таким тоном, как если бы хотела сказать: «Что же, с этим придется примириться».

– Ты меня приглашаешь без энтузиазма, мне кажется.

– Милый мой, нельзя всю жизнь с энтузиазмом жить. И тебе это должно быть особенно понятно – у тебя ведь энтузиазма вообще никогда не было.

²⁰ Ну, моя крошка... чего же ты хочешь? (*фр.*)

– Представь себе, был, – как бы сам этому удивляясь, сказал Сергей Сергеевич. – Но, конечно, как ты глубокомысленно говоришь, всю жизнь с энтузиазмом жить нельзя – устать можно. Да у тебя, конечно, и годы уже не те.

– Оставь в покое мои годы...

– Лиза, – спокойно сказал Сергей Сергеевич, – у тебя портится характер. Заметила ли ты, между прочим, что плохой характер и хороший вкус друг другу противоположны и стремятся к взаимному уничтожению?

– Заметила, – отрывисто и иронически сказала Лиза.

– Но не сделала выводов?

И тогда вдруг Лиза, с расширившимися от бешенства глазами, тихо сказала, глядя прямо в глаза Сергею Сергеевичу:

– Я больше так жить не могу, ты понимаешь? Все всегда очень мило, всегда шутки, всегда этот всепрощающий ум – и полное отсутствие страсти, крови, желания.

– Боже, какие ты ужасы говоришь, – сказал Сергей Сергеевич таким же эпическим голосом, каким он рассказывал охотничьи истории: «День, как сейчас помню, был облачный, тихий. Собака моя, которую я, представьте себе, купил совершенно случайно у крестьянина и которая оказалась...»

– Не могу, не могу, не могу! – закричала Лиза и, поднявшись из-за стола, ушла к себе.

Сергей Сергеевич и Сережа остались вдвоем. Сергей Сергеевич начал медленно насвистывать серенаду, сам прислушиваясь к точному и чистому свисту; досвистел до конца и сказал:

– Там, на юге, ты тетке посоветуй как можно больше в воде сидеть, это ее нервы успокоит.

À part ça²¹, как твои дела?

– Ничего, – сказал Сережа. – Сегодня я тренировался на сто метров.

– Какое время?

– Двенадцать с половиной.

– Многовато, – сказал Сергей Сергеевич. – Я думаю, ты теряешь время на старте.

* * *

Аркадий Александрович Кузнецов, с которым Ольга Александровна уехала в Италию и с которым она познакомилась около года тому назад, был полноватый человек сорока семи лет, с блеклыми глазами, небольшой лысиной, одетый несколько по-старинному, носивший трость с набалдашником; лицо у него было желтоватой окраски, была небольшая одышка, медленная походка и неожиданно высокий голос. Он никогда не занимался никаким физическим трудом и никаким спортом, поэтому руки и тело у него были мягкие, как у женщины. По профессии он был писатель – и этому обстоятельству был обязан знакомством с Ольгой Александровной, потому что встретился с ней на литературном вечере, где поэт средних лет с отчаянными глазами на измятом лице читал невиннейшие стихи, в которых главным образом описывались природа и любовь к земле.

Билеты на этот вечер, знаменательный в жизни Ольги Александровны, купил, конечно, Сергей Сергеевич, который за обедом сказал ей и Лизе:

– Вы бы, девочки, сходили раз в жизни стихи послушать.

И объяснил, что поэт, которого им предстояло слушать, был un brave homme²², у которого шесть душ детей и постоянно беременная жена, и что жилось ему туго. Все это было так неожиданно, что Ольга Александровна и Лиза решили поехать на этот вечер. Поэт читал стихи, чрезвычайно похожие одни на другие и настолько очевидно бесполезные, что слушате-

²¹ Хватит об этом (фр.).

²² Славным человеком (фр.).

лям становилось несколько неловко. К тому же у поэта был довольно заметный провансальский акцент. Но кончив свое третье стихотворение, он посмотрел на аудиторию и вдруг улыбнулся такой откровенной и наивной улыбкой, бессознательно-очаровательной, что всем стало ясно: стихи, это, конечно, неважно, а важно то, что это, действительно, милейший и простодушный человек и что, наверное, он очень любит детей, – и все это было в той удивительной улыбке.

– Ах, какая прелесть! – сказала Ольга Александровна по-русски.

И тогда человек, сидевший с ней рядом, повернул к ней желтовато-бледное лицо с блеклыми смеющимися глазами и сказал:

– Действительно.

Во время перерыва этот человек обратился к Ольге Александровне с извинениями по поводу реплики, которую позволил себе сделать, и назвал себя; Ольга Александровна никогда не слышала его имени, но Лиза читала его книга, и разговор перешел на литературу. Потом он пригласил их в кафе, был очень мил, любезен и скромен, и на следующий литературный вечер Ольга Александровна пошла уже с твердым намерением его встретить. Такое же намерение руководило и Аркадием Александровичем; и еще через некоторое время знакомство стало принимать угрожающие и привычные формы, вне которых жизнь Ольги Александровны каким-то роковым образом не могла протекать. Когда Лиза спросила Сергея Сергеевича, знает ли он фамилию Кузнецов, Сергей Сергеевич сказал, что знает, и на вопрос о том, что он, по его мнению, из себя представляет, сказал с обычной своей улыбкой:

– Графоман.

И потом он со всегдашним своим благодушием заговорил о литературе и писателях, которых – всех без исключения – считал очаровательными людьми, но, конечно, ненормальными и ошибающимися. Ошибались же они чаще всего в своем призвании; по мнению Сергея Сергеевича, большинству из них совершенно не следовало писать.

– Что ты называешь большинством?

– Термин, конечно, уклончивый, Лизочка. На этот раз я могу уточнить: девяносто процентов.

– Строг ты, Сергей Сергеевич.

– Почему же строг? Я им деньги даю.

– Ну, деньги ты всем даешь.

– Не всем, к счастью. Но многим, это верно.

– Нет, а уважение к писателю?

– Ну, Лиза, не капризничай – тебе уже и уважение нужно. Ты, может быть, дневник пишешь? Тогда я тебе изложу другую точку зрения на литературу, совершенно восторженную, чтобы тебе доставить удовольствие. А так – ну за что я их буду уважать? Вот этот твой Кузнецов, он, знаешь, такие печальные книги пишет, и все есть тлен, дескать, и суета, а сам он такой интересный и умный и все это прекрасно понимает. А герои у него все говорят одним и тем же интеллигентски-адвокатским языком, которым живые люди вообще не говорят, Лизочка, а только присяжные поверенные и фармацевты. И все эти герои – от конюха до генерала – говорят одно и то же.

– Что же, ты отрицаешь законность пессимизма?

– Нет, не отрицаю, но важны причины, которые... У человека, скажем, хронический ревматизм, или почки, или печень – вот тебе и пессимизм.

– Меня удивляет, Сережа, такое грубое физиологическое объяснение.

– Да ведь это же не так просто, это проходит через множество градаций – только я их пропускаю. Или вот, скажем, он импотент.

– Ну, этого я не думаю.

– Нет, ведь это только предположение. А вообще, он милейший человек, я его знаю, видел несколько раз, немножко меланхоличный, немножко мягкий, а в общем, очаровательный. Может быть, ему деньги нужны? Почему ты вообще о нем заговорила?

– Мы с ним познакомились на литературном вечере.

– А! Ну и что же?

– Он, кажется, нам понравился, – сказала Лиза, уходя из комнаты. И вдогонку неторопливый голос Сергея Сергеевича, в котором слышалась на этот раз настоящая улыбка, сказал:

– Тебя послушать, Лизочка, ты просто святая.

Больше разговор об Аркадии Александровиче не возбуждался. Только однажды за столом Сергей Сергеевич сказал вскользь, что читал книгу Аркадия Александровича «Последний перегон» и что находит ее замечательной: такой ум, такое понимание; он сказал это с простодушным и доверчивым убеждением, и Ольга Александровна посмотрела на него благодарными глазами, и только Лиза, не поднимая головы, – она ела артишок, – проговорила:

– Какой актер в вас погибает, Сергей Сергеевич!

Между тем отношения Ольги Александровны и Аркадия Александровича начинали принимать уже совершенно непоправимый характер. Ольга Александровна прочла все его книги; читая их, ей казалось, что она слышит интонации его трогательно-высокого, детского голоса, и все многочисленные страдания его героев, вызванные разнообразнейшими причинами, заставляли Ольгу Александровну возвращаться к одной и той же мысли, которую она как-то высказала сестре, сказав, что, только прочтя эти книги, понимаешь, сколько должен был страдать этот человек, чтобы написать это.

Книги Аркадия Александровича были, действительно, чудесны: то неопределимое и прекрасное, что было в них, все росло и шумело и никогда не кончалось, все было умно, нежно и печально, – но только никто, кроме Ольги Александровны, не умел этого видеть. Ольга Александровна начала заботиться о его костюмах, о том, чтобы он надевал теплое пальто, потому что стояла холодная погода, чтобы он не простудился, чтобы он пошел к доктору. И Аркадий Александрович, в свою очередь, влюбился на сорок восьмом году в первый раз в своей жизни. Выяснилось это однажды утром, когда его жена, усталая женщина с безжалостно крашеными волосами, услышала, что он пел. Она так изумилась, что вышла из спальни в пижаме и прошла в ванную, где увидела Аркадия Александровича, голого до пояса, увидела это ненавистное, белое и дряблое тело и – в зеркале – неожиданно веселые глаза.

– Ты с ума сошел? – Аркадий Александрович, продолжая напевать, не обращал на нее внимания. Наконец, когда она повторила свой вопрос, он обернулся к ней, засмеялся и сказал:

– Не старайся понять то, что ты не в состоянии понять.

– Я в состоянии понять, что ты стар и глуп.

– Ограничься этим и оставь меня в покое.

И тогда она вспомнила еще несколько вещей, на которые не обращала внимания до сих пор, и, сопоставив все это, пришла к убеждению, что произошла в жизни ее мужа какая-то ускользнувшая от нее, но очевидная и значительная перемена. Во-первых, он не просил больше денег. Во-вторых, он перестал жаловаться на судьбу. В-третьих, он как-то был на концерте Крейсера. Целый ряд поразительных вещей вошел в его жизнь и изменил все. Людмила обычно было некогда думать об этом. Ее собственная жизнь была слишком сложна, чтобы она могла останавливаться еще и на этом.

Людмила была женщиной исключительной. За много лет совместной с ней жизни Аркадий Александрович не заработал почти ничего, все было сделано ее заботами. Вместе с тем, была приличная квартира, обстановка, все и всегда было оплачено, и она и Аркадий Александрович жили совершенно благополучно и обеспеченно. Мужа своего она презирала до глубины души, но сохраняла как некую юридическую фикцию, которая входила в ее бюджет так же, как газ, электричество и телефон. В ее делах она часто пользовалась его именем, о чем он чаще

всего не знал. Он не знал также, что в ее рассказах он неизменно фигурировал как тиран и деспот и человек болезненно ревнивый, от которого она была вынуждена скрывать решительно все. А скрывать ей было что.

Последнее по времени дело, исключительное по удачности осуществления, заключалось в том, что от своего поклонника она получила десять тысяч на похороны единственного ребенка, очаровательной восьмилетней девочки, о болезни и смерти которой она рассказывала страшные подробности; и настоящие слезы стояли в ее синих глазах. Поклонник ее, немолодой человек, сам отец семейства, не мог в свою очередь удержаться от слез, слушая ее рассказ, чудовищный по своей простоте и убедительности. Она умоляла его не звонить ей неделю, дать ей время похоронить свою дочь, после которой на свете у нее оставалось одно утешение – его любовь, и потом она сама позвонит ему или напишет. И она уехала, крепко сжимая сумку с деньгами, полученными путем такого труда; и только в автомобиле стала медленно отходить, и лицо ее постепенно принимало свой всегдашний характер, трудно передаваемый: холодность, некоторая душевная усталость и только в глазах нечто вроде намека на какие-то обещания. Это был своеобразный тип очарования, не лишенный привлекательности, особенно для немолодых уже людей. Людмила могла нравиться или не нравиться, ее замыслы могли не удалиться, если она не нравилась; но если она нравилась, она добивалась своей цели; у нее было то, что она сама называла мертвой хваткой. Была еще и недюжинная изобретательность, которая проявилась, например, в деле о похоронах дочери; у нее никогда не было детей; но если бы они были, то они могли бы с чистой совестью болеть и умирать, так как на те деньги, которые она получила на их лечение и похороны, можно было вылечить и умертвить целую семью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.